***Уля Лучик***

*textforchildren@gmail.com*

**𝓟𝓮𝓼𝓷𝔂𝓪**

**(П Е С Н Я)**

Музыка в заметках телефона.

1. Возвращение

Я смотрю свой плейлист и думаю под какую музыку я умру. Мне бы, наверное, хотелось, чтобы звучала "Долгая и счастливая жизнь", правда, кто сказал, что я буду жить долго и хорошо? Плацкарт трясёт из стороны в сторону и только железный поручень не даёт упасть вниз. Я нажимаю кнопку "включить плейлист" и засыпаю глубоко. Мимо проносятся тени деревьев, столбов, домов. Поезд въезжает в туннель. Темнота накрывает вагон. Наступает короткая ночь, принося с собой быстрый сон.   
Где-то взрывается дом.   
Где-то стеною стоит пыль,  
 Это как сделать серый пластилин -   
все цвета перемешать в один.   
Ванна лежит похожая на разбитый фарфор.   
Мебель - пазл, который забыли сложить.   
Люди-игрушки лежат на крышах чужих домов.   
Рыжий пёс сидит на обломках людских жилищ.   
И его шерсть горит огнём.   
И из его глаз течет водопад.   
Он поворачивается ко мне и говорит:   
"стоянка пять минут".   
  
Я просыпаюсь и понимаю, что мы проехали полпути. Ко мне в вагон заходит тётка из музея мадам Тюссо, как если бы музей взяли и подожгли. Женщина - тающая свеча. Женщина - парафин. Я закрываю глаза и делаю вид, что сплю. Она спрашивает: почему такие вагоны еще не сожгли в степи, и молчит, а точнее ждёт, когда я скажу, что да, номер ноль из пяти звезд. Но я молчу. И она молчит. Помни, если пошёл в поход - медведь не трогает тех, кто мертв или спит. Вот и я сплю.

Женщина достаёт из пакета пакет и в пакете, в котором пакет в пакете, у неё лежит курица, помидоры, майонез и другая вкусная снедь, она начинает аппетитно есть, так, что у меня бурлит в животе. Я стараюсь совсем не смотреть на неё и гляжу в окно: огромное поле закрыло собой всё, показало немножко домов вдали и снова укрыло зелёным плащом земли. Я не знаю, сколько мне нужно часов, чтобы его обойти. Сколько нужно ночей, чтобы сосчитать количество шагов. Сколько нужно дней, чтобы пробежать вдоль и поперёк - поле необъятной моей страны. Киты в животе издают клич голодных морских рыб. Женщина из музея мадам Тюссо приглашает меня на обед. Еда вынуждает меня спуститься с небес к ней - на нижнюю полку к столу. Мы едим и молчим. Мы едем и молчим. Вдруг она говорит: "Не хочу войны". Просто так ни с чего. Я спрашиваю её: "Что?", она говорит мне голосом лао дзиды, если среди китайских философов есть лао дзиды: "Война - это нехорошо", и продолжает есть в тишине. Я чувствую с ней какое-то родство, несмотря на то, что она похожа на подтаявшее желе. Я смотрю на неё внимательно: она больше не кажется мне ведьмой, которая хотела съесть сердце Кальцифера. Она даже чём-то напоминает меня саму - мою маму и мою семью. Живот греет тёплый комок внутри, я забираюсь к себе в нору - смотреть сны. Кто-то резко включает свет. На утро её уже нет - только скомканное бельё. Видимо, женщина вышла на одной из тех станций, где поезд стоит ровно шестьдесят секунд и никто не знает, как она называется.

Я одеваюсь и складываю шмотьё - в вагоне совсем светло. Осталось каких-то десять минут и поезд плетётся мучительно долго, как будто не хочет туда, домой, да и я не хочу домой, но мне я не доступна функция перемотки. Вот уже виден перрон, вокзал, мост... По лестнице прямо, потом вниз, налево, магазин, киоск. Я знаю от и до этот путь и на ощупь пройду его, угадав, куда какая тропа ведёт. Клуб, школа, прямо направо во двор - заброшенный дом, по узенькой тропке налево - на турниках сушат бельё. Это так смешно. Сушить во дворах бельё. В двадцать первом веке. И смотреть из окна, как бы оно не слетело или как бы его не украл вор. Мимо лежанки бомжей и котов, мимо детских площадок, сомнительных статуй, пивнушек и частных домов. Я иду и мой чемодан гремит на весь район, будто бы говорит за меня: "Здравствуйте, я пришёл". Но на улице нет никого. Только больной изуродованный кот. И ему нет дела до того, кто идёт.

Я захожу в подъезд. Я поднимаюсь наверх. Я открываю дверь. Свет заходит со мной. Дома совсем темно. Я слышу, как кто-то толкает речь. Я захожу к маме - мама смотрит новости на первом канале. Это так по-маминому - смотреть новости на первом канале. Она смотрит их с закрытыми глазами, наверное, потому что только так можно смотреть новости на первом канале. Мама лежит в кресле. Если бы кресло было пирогом, оно бы давно покрылось плесенью. Я подхожу и думаю ну всё. Мама не дышит и кажется, что совсем того. Я не успела проститься с мамой и она умерла под новости на первом канале. Боже как смешно. Здесь всё жутко смешно. Я беру с подколотника пульт и выключаю телек. Обесточенный робот внезапно издаёт звук. Она смотрит на меня слипшимися глазами. Так начинается эта семейная драма. Мама тяжело встаёт. На ней - носки, шлепки, ночнушка, жилетка из собачьей шерсти - всё, чтобы не умереть от холодной смерти. Она уходит на кухню накрывать стол, я отодвигаю штору и смотрю во двор. Утром двор пуст и все горки, качели, вертушки стоят на нём как брошенные игрушки. Я думаю, где я её похороню: вот здесь у песочницы или ближе к краю площадки. Можно в клумбе у дома, но там по весне сажают герани. Надо выбрать место, где никто не будет тревожить её покой. Вот там, например, где берёза стоит трубой. Бордюр пунктиром обозначил квадрат - значит там клад. Я сломаю берёзу и сделаю ей крест из двух палок. Я возьму дощечку и напишу её имя, выводя каждую букву курсивом красиво. Я возьму из туалета совок и буду вонзать его в землю за неимением других инструментов. И он расколется надвое. Тогда я руками разрою яму. Чтобы похоронить свою маму.

Она возвращается в комнату и я вспоминаю, что мама еще жива, спрашиваю: «Мягкая ли земля?». Мама не понимает вопроса и сама спрашивает, как в самолёте: «Чай/кофе?» Я говорю: «Второе». Она отвечает: «Нет кофе». И уходит, а я постигаю абсолютную бессмысленность бытия.

Мы сидим с ней и пьем чай с невкусными конфетами. Ромашка, маска, птичье молоко... Ну или как они там называются. Эти дешёвые конфеты. Я не знаю, о чем говорить, слушаю тишину, а ещё жую. Она спрашивает про жизнь мою. Как работа? Я работаю дистанционно. По-маминому значит, что я не работаю. «А как же льготы и пенсия?». Я говорю позитивно: «Не доживу». Мама жуёт конфеты. Когда она открывает рот - зубы будто испачканы смолой. Как, говорит, на личном? Я говорю: «Отлично. Отлично, когда нет ничего личного». Она говорит, вот зря...Сережа... с пятого этажа....за тобой ухаживал...такой кавалер.... Я не помню Серёжу. У меня только два вопроса. «Сколько тебе еще?», она уточняет: «Чего?», я добавляю: «осталось…». Она говорит: «Не знаю, может год, а может дней двадцать». «А если с лечением?». Она отвечает коротко: «Не хочу». Тишина и конфеты. Чай, тишина и конфеты. На столе лежит скатерть-клеенка с грустно смотрящим котёнком, она ставит чашку с подбитым дном прямо ему на морду, и я чувствую себя этим котёнком. У меня остался один вопрос. Я набираю воздуха в грудь и спрашиваю её осторожно: что ты думаешь обо всем? Она молчит, и я молюсь, чтобы она заговорила губами женщины из поезда. Я вижу, как у неё опускается рот и из него выглядывает чёрный зуб... Я просто думаю про себя: «Просто скажи, что война - это нехорошо. Просто скажи, что война - это нехорошо. Просто скажи, что война - это нехорошо. И я буду любить тебя. И я буду любить тебя. Я ведь часть тебя. Я всю жизнь буду любит тебя. И я обниму тебя. Ты, как и я, - на стороне добра. Ты понимаешь, где свет, а где тьма». И она произносит слова: «Ненавижу хохлов». У меня дёргается глаз. Я переспрашиваю в надежде на глухоту. И слышу во второй раз: «Ненавижу блядь хохлов». И тут начинается поток бессознательного. В огурце из Донецка нашли иглу, в объявление на столбе - лезвие. Америка хочет захватить страну. В Украине распяли мальчика. Зеленский курит траву. Люди в гейропе долбятся в задницу. В Киеве хотят уничтожить нашу великую нацию. Там одни садисты, фашисты и нарики. Если не мы, то они нас. Где ты была восемь лет, когда бомбили за Донбасс. Ну ничего, ничего. Мы их чуть-чуть постреляем и всё. У них там на каждом углу свастика. И вообще Крым наш.   
Я смотрю на неё и хочу плакать. Я начинаю ей что-то доказывать. Показывать новости, фото, видео со Шварценеггером, где он говорит, русские, перестаньте творить херню. Она ничему не верит, разругавшись, я ухожу. Я ложусь в комнате на кровать, укрытой пледом из пыли и старости. Справа меня на стене - ковёр, напротив кровати - распятие. Я достаю из кармана аэрподс и вставляю их в уши. Музыка заполняет меня всю. Музыка делаем мир лучше. Я пытаюсь себя утешить, но злюсь и гнев охватывает меня. Я не могу понять - как же так мы с ней родня? Почему моя родня на стороне зла? Почему я против, а она zа? Я вижу на тумбочке её кнопочный телефон и издаю тихий стон. Что она могла в нём прочитать? Посты доха или дождя? Лишь смски про акции на шампунь, одобренные кредиты и скидки в аптеку24 часа. А больше ей ничего и не надо. Моя мама самый счастливый человек на свете - мир рушится там далеко, но не рядом. Мне мерещатся два Христа, один - на распятье, другой - в передаче распятый. Так начинается моя война. Холодная война с моей мамой.

1. Примирение.

Россия обстреляла роддом. Россия обстреляла гуманитарный коридор. Россия обстреляла театр. Я смотрю новости как большое кино, как сериал, который меня заставили. Мама же смотрит телек. Некрасивые люди с пеной у рта говорят, что фашисты прятались в гражданских объектах, претворяясь детьми и беременными. Мама кивает и верит, а я просто схожу с ума. Надеваю наушники и иду гулять, чтобы не думать и не осознавать. Я иду по району, где когда-то жила, никакой ностальгии - только тоска. И родной души тоже нет ни одной – все уехали, я - возвращаюсь домой.   
  
Подруга А улетела двадцать четвертого февраля, взяв с собой паспорт, ноутбук, трусы, носки, а еще котов в количестве двух штук. У нее принципы и бабушка из Днепра. Уехала в никуда – лишь бы только не быть в стране, где нельзя говорить «война». Теперь делает внж, котам ставит прививки, покупает за семь тыщ симку, выходит на митинги, где никого не крутят за очевидное, делает посты агрессивные, тратится на психотерапевта, удаляет меня за тишину в фейсбуке. Я сомневаюсь, что она мне подруга.

Вторая подруга, подруга Б, приехала из Киева десять лет назад, училась в российском вузе, стала актрисою, была известной относительно, много зарабатывала. Мечтала о роли. Купила квартиру в Новых Черемушках без ипотек и кредитов на свои кровные. Встретила любимого человека. Была счастлива. Война началась, и сказка закончилась. Дорога до Киева. Все перечеркнуто и забыто. Она уехала, чтобы быть с родителями. Человек не поехал.   
  
Третья подруга, назовем ее подруга В, остается в Москве. Родственники у нее есть на этой и на той стороне. Одни звонят и кричат: «Наши вас бомбят», вторые – «Опять? Может хватит врать? Наши приехали вас защищать». И никто не может понять, как можно одновременно бомбить и защищать. А она в стороне. И, наверное, это самый близкий вариант ко мне. Я бы рада уехать, только вот – куда? И на что? И зачем? И кишка тонка… Да и как – когда умирает ма? Я думаю про себя: отойдет на тот свет, вот тогда точно куплю билет. Уеду в любую страну и буду жить там одна. Но моя мать не торопится. Умираю я.

Вообще, я люблю свою маму... Ещё до февраля, я очень пыталась быть с ней ласковой и терпеть все её глупости, как терпят только самые близкие и родные люди. Я относилась к маме как к человеку недалекому и всегда смеялась, когда она смотрела свои провластные телеканалы. Теперь я смотрю на неё и думаю: это я была недалекой, что смеялась над мамой. В маме поселилось такое зло, о котором я даже не знала. И теперь миллион таких мам жаждут крови и мяса, а их умные дети им доказывают: мы живём в антиутопии, мама. Но наши мамы не читают антиутопии. Мы вовремя не купили им книги. И теперь наши мамы-зомби разбросаны по всей России.

Я гуляю по парку: в парке старые аттракционы с потрескавшейся краской. Мама катала меня здесь на качелях, батуте в виде жирафа, паровозике, который ходит по кругу, на тошниловке-каруселе и на живом пони – толстой короткой лошади – как я ее называла. Мама любила меня и почему, когда с ней беда, я не чувствую ни волнения, ни совести, ни стыда.   
Где-то в мучениях женщина рожает ребенка, кричит и стонет от боли, ребенок рвет её. Наконец, после долгих схваток, вся измаявшаяся, она берет его на руки и, пока ее зашивают, он говорит ей: «Мама, Russia is a terrorist state. Засунь меня обратно. Я не поддерживаю твои взгляды». Разве я не могу уважать свою маму только за то, что она меня рожала? Разве этого факта мало? Мама любит меня просто за то, что я часть мамы. Ну а что, если мама умрет, зная, что она никому не нужна? Как потом буду жить я? Я думаю о компромиссе с мамой. Захожу в салон связи и покупаю телефон, новенький, сенсорный, с большим экранном. Вставляю симку, оплачиваю интернет. Регистрирую во всех соцсетях и подписываю на антивоенный контент. Дарю телефон маме. Мама пишет свое первое «привет», и «привет» высвечивается на экране.

1. Театр

Я решаю серьезно заняться мамой. Уговариваю ее сдать анализы. Мама не хочет сдавать анализы, она просто мечтает умереть спокойно, не зная, сколько там у нее в крови сахара и как называется ее смертельное заболевание. Незнание – это классно. Не знать что-то - супер. Можно жить и быть глупым. Это девиз моей мамы.

Однажды мы идем в театр. Да, это смешно. Моя мама ненавидит артистов типа Чулпан Хаматовой, предателей, которые бросили свою страну. Она считает, что нет им пощады, что их нужно казнить, расстрелять, подвесить на металлическом кране над кипящей лавой. Вообщем, моя мама не очень любит театр. Театр – удел богатых. А мы люди бедные, но, несмотря на это, мы идем в театр. Я покупаю билеты. Мне хочется, чтобы последние дни моей мамы были самые светлые. Я веду ее на спектакль. В театр, по логике моей мамы, нужно ходить только в вечерних нарядах, а иначе какой же это театр. Это бомжатник, выражаясь ее словами. Моя мама надевает пестрое платье с цветами, в котором выглядит, как цыганская женщина на вокзале. У меня нет вечерней одежды, и я нахожу платье, которое надевала в выпускном классе. Черное с позолоченным верхом. Старое с неприятной тканью, как бы сейчас сказали – винтажное. Я надеваю его и выгляжу весьма удручающе. Мама довольна – мы настоящие принцессы. Я предлагаю ей вызвать такси и доехать с комфортом, мама против – такси – это тоже удел богатых, а мы, напоминаю, бедные. Мы идем по весенним лужам в длинных дутых куртках, из которых выглядывают наши подолы. Идем по лужам, говну и остаткам зимней стужи до остановки. Я снова смотрю на свой город и замечаю нечто странное. В детстве на компьютере была игра такая: нужно было найти спрятанную эмблему среди других деталей. Я иду по городу и вижу эмблемы. Вижу на военном музее, вижу на автобусе, на котором мы собрались ехать, вижу прямо на театре – огромную зигу, которую распечатали, видимо, для слепых великанов, ну чтобы точно слепой великан заметил. Я замираю у театра и мне хочется пойти обратно. Мою маму ничего не смущает. Она просит сфотографировать ее на фоне театра. Я пытаюсь сфоткать без зиги, фоткаю криво, мама говорит, что это не фотка кривая, руки у меня кривые. Мы заходим в театр. Нас встречают капельдинеры – женщины в бордовых жилетках. Мама взяла с собой сменную обувь в шуршащем пакете. Поругалась с женщиной в гардеробе – та предложила купить ей за триста рублей бинокль и за десять рублей плечики. Мама считает, что цены не демократичные, а плечики она могла бы дать и бесплатно. Мы ждем представления. Мама просит сфоткать ее у зеркала. Рельефа. Буфета. Стены с портретами. Туалета. Я не знаю, зачем ей это, но фотографирую. Главное в нашем деле – это смирение. Третий звонок. Все уже сели. Мы проходим на наши места, в середину ряда, мама громко ворчит на тех, кто не смог встать и поднять зада, от чего ее заду пришлось соприкоснуться с чужими коленями. Я чувствую, как краснею и становлюсь томатом. Мне хочется сказать: я не с ней, но увы все понимают - это моя мама. Мы садимся на кресла, и я планирую провести время в спокойствие и умиротворение. Два часа десять, как написано в программке. Я смотрю по сторонам и считаю сколько людей в зале. Сотни две или три пришли посмотреть спектакль. Я вижу, как трещина бежит вдоль рельефа, как хрустальная люстра висит на одних соплях, как трескается побелка, словно засохшая верхушка кулича. Как мы все оказываемся под завалами, как вытаскивают тела, среди них – тело моей мамы... Я открываю глаза: сцена, зрительные зал, затылки прямо напротив нас – с залысинами, химическими кудрями и заколками-бабочками. Темнота. Ожидание. Это всего лишь театр. Это всего лишь театр. Люди на сцене говорят о своих проблемах на языке девятнадцатого века. Мама терпит тридцать минут, а потом зевает. Ей скучно, спектакль не нравится. Она хочет, чтобы об этом узнали другие и показательно начинает вести себя - вздыхать, ерзать, издавать звуки неодобрения.

Если вам что-то не нравится в театре, сделайте как моя мама – покажите другим ваше негодование, чтобы все догадались что вы не любите театр. Я беру ее за руку и шепчу очень громко: «Хватит!». Она говорит: «В смысле тебе что *это* нравится?». Маме не нравится, когда другим нравится то, что ей не нравится. Ведь это – неправильно.

Мама достает телефон, включает на полную громкость какое-то видео типа рецепт домашнего хлеба. Все на нее оборачиваются, я прошу ее: «выключи». Она раздражается, встает, показательно хлопает креслом, чтобы все знали - спектакль говно. Я иду следом и все думают, будто мы с ней заодно. Наш совместный поход в театр заканчивается скандалом.   
  
Мама приходит домой и отписывается от всех антивоенных каналов. Я продолжаю читать новости. Снаряды летят, умирают люди, дома рушатся. Я не знаю, что может быть хуже, но тут наступает она…

Буча.  
  
4. Буча

Мне хочется сказать, что это невозможно. Мне хочется сказать, что такого не может быть. Я представляю свой район, как если бы его захватили люди-хамелеоны и приставили дуло к случайным прохожим, к мужикам, которые хотели купить сигарет, и к женщинам, которые вышли подышать воздухом. Я представила, как если бы в мой дом постучались прикладом, а потом постучались прикладом мне в голову, а потом долго насиловали до крови. Это просто невозможно представить в мире, где так много говорят о свободе. Я представила, как моя улица, по которой я ходила в школу, в парк, в поликлинику, в круглосуточный магазин напротив, где покупала шипучки за пятьдесят копеек и жвачки за рубль… Как по моей улице раскиданы трупы прохожих, шедших по делам, на работу, к подруге, любовнице или любовнику… Как кто-то, приходившейся мне соседом, одноклассником или коллегой, лежит на земле расстрелянный… Я представила, как какой-то мальчик решил поиграть в Бога и соединил пулю и человека. И теперь ему снятся кошмары, мерещатся привидения, он лежит в агонии и не знает перед кем просить прощения. Ну я надеюсь на это. Всем же хочется верить в расплату. В карму. В эффект Бумеранга. В Гаагу. В конец света. Я показываю маме кадры, облетевшие всю планету. Мама, конечно, не верит. «Зачем ты мне это показываешь? Какие-то страсти». Я бы тоже не верила. Здесь я понимаю маму: как можно поверить, что в двадцать первом веке возможно такое. Никто в адекватном мире в это не верит. Даже моя мама.

Я продолжаю делать свои дела, чтобы жить и не сойти с ума. Пишу мелкие планы на день типа протереть окна, найти новый крем, заказать аромамасла. Правда, это желание найти аромамасла выдают во мне буржуя, мещанина, сноба. Я ненавижу себя за то, что мои задача - найти аромамасла, а задача других- выжить, если тебя накрыла стена. Мама отправляет меня купить газету из серии сто советов для огородников на ближайшей почте. Я иду по улице: вижу нечто черное. По улицы раскиданы мешки, будто люди… Которые только что умерли. Я подхожу к одному – из него валится мусор. Всего лишь дары субботника и не более. Говорю себе: «успокойся».

Иду на почту. На почте очередь. Люди серые, злые и недовольные. Впрочем, как и всегда. Я думаю: кто читал из них новости? Кто думает о том, о чем думаю я? У кого перед глазами стоит рука, торчащая из песчаной кучи? Электронное табло горит, но не работает. Я спрашиваю: «Кто крайний в очереди?». Все молчат. Я трясу какую-то девочку-подростка за рукав. Кто, говорю, крайний в очереди? У неё наушники тянутся проводами в карман. Она смотрит и говорит внезапно: «мне пофиг, я в танке». Я говорю: «Чего бля?» В очереди на моё «бля» реагируют бабки. Бляхать в России тоже нельзя. Девочка поясняет: «Не знаю, кто крайний». К ней подходит женщина, похожая на её мать и они уходят. А я продолжаю стоять и охреневать. И я уже забываю, кто крайний. Но вдруг мне отвечает женщина в красной шапке, что крайней была девушка в куртке с надписью, но она отошла и теперь крайний мужчина с папкой. Мужчина с папкой говорит, что он не крайний - за ним была бабка. Но бабка проползла в середину без очереди - ей просто надо купить марки. Все ненавистно смотрят на бабку, но никто не решается ей сказать - всё-таки она бабка. Женщина в красной шапке, которая в школе, видимо, была старостой, а в советские годы доносчицей, делает ей замечание - нельзя же без очереди, даже если вы очень старая. Начинается вакханалия, состоящая из замечаний. Из окошка высовывается голова работницы почты. «Так что за бучу вы здесь мне устроили?» Мне хочется громко орать. Я выбегаю из почты. Я бегу по парку. Я бегу так быстро, как только могут ноги. Я забегаю домой, сбрасываю кроссовки, кладу своё бедное тело в кровать и заворачиваюсь во всё, что можно. Я плачу и хочу спать. А ещё чувствую себя бабочкой, которая предпочла кокон. Бабочкой, которая очень хочет спать.

5. Тело

Я пытаюсь записать маму к психологу, раз к другим врачам не получается. Это практически невозможно. Мама считает, что врач нужен мне больше. Она говорит , что я ненормальная, потому что смотрю на людей, у которых оторваны руки и ноги. Сидя в автобусе, за завтраком, пока ем хлопья или перед сном дома. Я каждый день гуглю новости и моя мама называет меня сумасшедшей. Как-то я прислала ей видео, где выпускники танцуют на фоне бегущий строки о казнённых пленных и спросила её: «Тебе норм вообще?» А она ответила: «Ну да, дети танцуют, а что там написано да какая разница, знаешь, в Африке вообще каннибалы едят друг друга...» И вдруг она спрашивает: «А ты видела какие у них яйца?» И присылает мне новость из паблика в вконтакте, где у негров тире афроамериканцев вооот такие мошонки, и они волочат их, как мешки с подарками, правда, это точно не Санта-Клаусы. Мама показывает мне фото и говорит гордо: «Ну что видела какие у них яйца?» А потом начинается череда интересных фактов: «В Африке насилуют женщин, в Африке убивают, рушат чужие хижины, грабят, рвут на куски непокорных и едят их...». А я говорю ей: «Мама, Африка ближе, чем тебе кажется». Никто не идёт к психологу. Африка продолжается.  
  
В конце концов мне надоедает общество мамы. И я иду на свидание. Хотя сам факт свидания во время того, что происходит, кажется мне неправильным. Но я не могу ничего поделать: но надо продолжать свою жизнедеятельность. Я смотрю на мужиков в приложении – выбирай, кто нравится из неандертальцев. Если откажешь, получишь в ответ - «ты сама некрасавица», «понаехала тут». Попался один… Кажется, я его знаю. В городе с маленьким населением сложно не знать кого-либо. Возможно, мы ходили в одну секцию карате или покупали булки в пекарне. Не помню. На вид парень нормальный. Даже вроде бы адекватный. Это большая редкость. Я смахиваю вправо. Горит значок метч. Вау. Мы созданы друг для друга. Он приглашает меня в кафе «Радуга». Скажем так, в этом городе маленький выбор забегаловок. Но я все равно рада. Я начинаю краситься, марафетиться. Мама подозревает неладное. Видимо, догадалась, что я, выражаясь ее словами, «нашла хахаля». Ну и ладно, пусть думает что угодно. Я продолжаю заниматься своими делами… Покрывать своё тело гелями и скрабами. А еще говорю с невидимым собеседником… Будто бы он – моя мама.

Представь, ты делаешь себе пилинг, маски, ногти, покупаешь новые туфли, выбираешь лак, чтобы сочетался с твоей сумкой и юбкой. Бреешь ноги, лобок, руки, подмышки. Одеваешь стопы в носочки sоsu, чтобы не было трещин на пятках. Мажешь лицо кремом от прыщиков и пигментных пятен. Колешь губы. Убираешь горбинку. Делаешь себе лазерную коррекцию зрения. Хочешь жить красивой в красивом доме, выбираешь гарнитур в кухню под цвет обоев оранжево-желтый, ищешь цвет подходящий тот самый яркий и сочный, заказываешь из Китая, Европы, с соседней планеты, закрытого склада икеи, у дилеров пёстрых кухонь, лишь бы сделать ту самую кухню, в которой так хорошо утром пить кофе, в которой так легко и комфортно. Следишь за фигурой, отказываешь себе в лишней конфетке и шоколадке. Беременеешь. Не следишь за фигурой. Рожаешь. Испытываешь мучения. Делаешь всё для ребёнка. Колешь прививки. Достаёшь из пальца занозу. Стараешься, чтобы твой ребенок не поранился и не ушибся. Внезапно ему ставят диагноз. Ты водишь его к педагогам и к логопедам, читаешь стихи персидских поэтов, покупаешь развивающие игрушки. До тех пор, пока не прилетит ракета. В один день не прилетит ракета. Твоего ребёнка разрывает на части и убивает насмерть, и уже совсем не важно какие стихи ты читал ему, какие уроки он посещал с младенчества и как ты пытался давать ему только воду, а не гемоглобинные соки. Твои баллы заботы перестают считаться, если летит ракета. Все твои баллы заботы. Твое жилье больше похоже на кукольный дом и все могут увидеть, что в нем, будто кто-то открыл его, как дверь холодильника. На стене – телевизор, на столе – яблоки, как с картины. Хочешь – поднимись, забери их. Только уж больно высоко. И лифт, к несчастью, разорвало. Так что - смотри и не трогай. Просто смотри и не трогай. Смотри, как рушится твой дом.

Твоя мягкая пяточка оторвалась от голени и улетела куда-то далеко, но боли… боли нет, боль невозможно почувствовать сразу, лицо - в мясо и ты уже не думаешь о прыщах, горбинка, пухлых губах и идеальной матовости, ты просто молишься, чтобы тебя сохранили хоть что-то, чтобы можно было нормально улыбаться и не пугать прохожих, чтобы глаз не вытек от попавших в него осколков.

Я жду ракету, но дом стоит, как ни в чем не бывало. По первому каналу говорят про победу, а я жду, когда наконец-то в Кремле бахнет, и вздрагиваю от фейерверка - какой-то дурак решил во дворе отпраздновать случайный праздник. И ничего не летит в меня и мою маму и я могу просидеть так долго и не дождаться ракеты.

6. Свидание   
  
В местной обшарпанной кафешке пахнет капустой и чебуреками. Глупо спрашивать, есть ли тут раф или тыквенный латте. Бери кофе три в одном и проваливай. Пирожные задыхающиеся под пищевой пленкой. Беляши, хачапури и слойки лежат на прилавке. Вообщем-то я не голодная. Принц мой пришел с опозданием. Вроде бы даже одет прикольно. Рубашка и брюки. Если мужик ради тебя надевает рубашку, значит, ты либо его училка, либо возлюбленная. Значит, он от тебя тащится. Сегодня я очень хочу заняться любовью, сегодня я очень хочу заняться любовью, поэтому закрываю глаза на то, что партнер мой похож на братка из девяностых и просто хочу ему нравится. Кажется, это взаимно. Он улыбается и покупает мне кофе. Я мешаю маленький кофейный остров и он уходит под воду. Я боюсь спросить своего нового ухажера о самом главном. Говорю про кино и сериалы. И как-то он сам начинает: ты знаешь, мне не очень нравится вся эта ситуация… Я говорю с облегченьем: мне тоже. И он продолжает: но я понимаю, что это нормально. Америка тоже начала войну со Вьетнамом. Это нормально для государства – занимать новые территории. Отнимать друг у друга земли. Так испокон веков было и вообще я историк, актер, конспиролог….Не то чтобы я срать хотела на войну со Вьетнамом. Но я не живу в Америке. Не за эту войну мне перед божьем судом давать показания. Он говорит, что я много думаю, что нужно срочно расслабиться, и кладет свою руку мне на колено. Мне это не нравится. Я спрашиваю: «А если наш президент объявит всеобщую мобилизацию, и все мужчины, сыновья, отцы, дяди, племянники возьмут пулемет в руки и пойдут исполнять роль пушечного мяса в бессмысленной кровопролитной битве, будет ли это, по-твоему мнению, нормально?» Он смущается. Конечно, просто хотел трахнуть бабу, а она начала тут. И отвечает: я думаю, он не такой уж кретин, чтобы свой народ подвергать опасности (тут нужна пауза для смеха), да и люди взбунтуется, грянет бунт, революция… разве это кому-нибудь нужно? Разговор не ладится. Мы расходимся.

Я иду домой к своему маленькому распятому другу. И смотрю на него долго. Дома играет Алла Борисовна Пугачева.

6. НОВОСТЬ

Я иду по городу и мои уголки рта тянутся к ушам и, нет, я не сошла с ума. Я счастлива. Я очень счастлива. Я иду к маме делиться радостью. Сегодня объявлена всеобщая мобилизация. В моем городе тихо, а где-то суета. Кто-то пакует вещи и бежит на вокзал, кто-то срывает зигу с окна машины, чтобы в ближней стране ничего не спросили, кто-то ищет военник, плачет над категорией «А», кто-то меняет место жительства, кому-то пофиг - он идет прямо в военкомат – класть себя на алтарь боли. Даже те, кто кричали - «ура!», прячутся, как мыши. Тот, кто был громче всех, старается быть тише.

А я иду к маме. Мамы нет дома. Это странно. Мама всегда дома. Мама ведь не выходит. А я так хочу рассказать ей эту благую новость. Я верю, что если бы я была парнем, мама бы ни за что не отдала меня в армию. Я хочу услышать от нее эти слова. Я хочу, чтобы мама сказала, что любая на свете ужасна война. Чтобы мама признала, что она не права. Чтобы мама открыла широко глаза и увидела, что натворила ее страна.   
  
Мама появляется на пороге. Она спрашивает: ты слышала новость? Да, говорю, знаю. Мама улыбается. Я тоже. Мы обе смотрим друг на друга.   
  
Я. Теперь ты всё понимаешь?

Мама стоит и не знает, чего она понимает. Мама мне отвечает:  
  
М. Я сняла деньги   
Я. Какие деньги?  
М. На сберкнижке, которые лежали… Я же все-таки умираю… Зачем мне деньги? Хоронить их что ли.   
Я. Мне не нужны деньги, главное, что ты поняла меня.   
М. Не тебе эти деньги.  
Я. А кому тогда?  
М. Армии.

Я замираю в непонимании.   
  
Я. Какой еще армии?   
  
Теперь не понимает мама.

М. По телевизору сказали, что нашим солдатам нужны бронежилеты, дроны-разведчики, портянки и шлемы. Моя мать в сорок пятом бойцам помогала хлебом, и теперь я буду приближать нас к победе, всеми силами и деньгами, отложенными со своей пенсии.

У меня отвисает челюсть.

Я. Но ты ведь… мне их обещала…

М. Тебе – не надо. Ты еще себе заработаешь. А это пойдет солдатам. Я хочу в жизни сделать хоть что-то хорошее.  
  
Хоть что-то хорошее. Хоть что-то хорошее перед смертью. Где-то Бог услышал это на небе и вскрыл себе вены. Я думала, что, когда она узнает про мобилизацию, ее мир рухнет, а он снова наладился…Я сажусь на корточки и хватаюсь за голову не в силах ничего сказать. Мама уходит искать свой любимый пояс из собачьей шерсти. Я смотрю на деньги. Я хватаю денег и кидаю в ведро с мусором. Спичка горит быстро, мусор долго. В ведре разгорается филиал ада. Я чувствую себя Настасьей Филипповной. Мама приходит. Мама не понимает. Хватается за ведро, кидает содержимое в раковину, заливает водой из-под крана. Пар появляется вместе с запахом гари. Она страшно ругается. Говорит, что я совсем оборзела, что это ее кровные непосильным трудом нажитые, что она их с каждой пенсии откладывала, а теперь из них осталось только тысяч десять… И кто теперь вернет ей эти сожженные бумажки? Она начинает бить меня своими морщинистыми кулаками, но мне не больно – я в бронежилете. Я давно уже в бронежилете. И плачет. Ты, говорит, зачем это сделала? Я бы тебе все равно отдала их... Это тебе, я просто позлить хотела… А теперь ничего не купишь, а так бы могла купить машину… взять ипотеку… как все нормальные люди…Пришла испортила всё… Да и вообще я ничем не болею. Мне просто жить надоело. Одной постоянно. Мама меня обнимает. Но я ничего не чувствую.

7. ПЕСНЯ

В Новый год у мамы очень хорошо. Мама делает нарезку к оливье, достает из кладовой банки – домашние помидоры, огурцы, компот, покупает майонез впрок, нарезает, варит и жарит… На кухне всегда жарко. Мама не дает ей помочь. В зале на советском столе-книжке стоят конфеты в фужере и фрукты. По телевизору фоном идет ток-шоу. У нас с мамой всё хорошо. Мы украсили елку. Под елкой стоит Дед Мороз – охраняет подарки. Мама подарила мне пенталгин и шампунь «чистая линия», который я скорей всего выкину. Я подарила маме набор бомбочек для ванны, которыми она скорее всего не будет пользоваться. Пятнадцать минут до Нового года. Праздник. Мы обещали не говорить ни слова про то, что у всех вызывает триггер. И мы вроде бы даже счастливы. И живем вроде как в мире.   
  
Мама звонит кому-то по телефону. Алло, Зина? Я тебя поздравляю! Алло, Инна? Я тебя поздравляю… Алло, Марина! И так далее… Внезапно она обрывается. «Да ты что… Сережа умер?» Мама издает какие-то звуки больше похожие на междометия. «Воевал в Макеевке? А когда это стало известно? Еще даже по телевизору не говорили… Погибли военные? Много? Тебе кто рассказал такое? Его друг-сослуживец? А кто из наших еще там? Макар Антипов? Денис Корочкин? Рузиль Шакиров? Боже, да сколько их…» Я начинаю прислушиваться. Маму трогает смерть Сережи. А меня трогает мама. Я радуюсь, что наконец-то мама всё понимает.   
«Война – это плохо,» - говорит мама. И я выдыхаю. «Ну ничего, - она продолжает. - Мы еще им покажем. Мы им покажем, где раки зимуют. Мы отправим такую же роту наших, чтобы они отомстили за тех, кто уже не сможет. Не добили в сороковых, добьем в двадцать третьем. Мы их заставим жрать землю. Этих тварей. Наши их обязательно сделают. Ядерного гриба им надо».

Я надеваю ботинки, куртку шарф, шапку. Всё накидываю быстро, не застегиваю молнию. Выхожу. Дверь скрипит страшно. Мама оборачивается. Кладет трубку. Идет в гостиную. Слышно, как лифт уезжает. В гостиной никого нет. Она садится у телевизора. Мама смотрит пустыми глазами, и они становятся влажными.

Я иду по парку, где никого нет. Напротив в домах горит свет. Кто-то накладывает мимозу и оливье. Где-то звенят фужеры и летят от шаманского пробки. Остаются в Краматорске, в Киеве и в Днепре. Фонари светят ярко, освещая фигуры ледяных танков, на которые падает снег. В парке из репродукторов играет АВВА. Я сажусь на скамейку. Музыка прекращается. Звучит то, что я слышу больше двадцати лет. Сначала, к счастью, фанфары. Я ищу наушники в кармане, надеясь успеть надеть, чтобы закрыть все слуховые каналы. Но их нет. Наушники лежат дома напротив распятого Бога. Звучат куранты. Я закрываю уши, чтобы не слышать речь. Я бегу по парку – звук настигает меня повсюду. Вокруг тишина, никакого шума. Надо мной – только салюты, будто бомбы летят с неба. И голос, который проникает везде абсолютно. Я падаю в снег и кричу. Я слушаю песню, которую не хочу.

….Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Апрель, 2023